

УДК 82

«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В РОМАНЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «СВИДАНИЕ С БОНАПАРТОМ»

© 2010 г.

М.А. Александрова

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

nam-s-toboj@mail.ru

Поступила в редакцию 23.03.2010

Рассматриваются предпосылки модернизации конкретно-исторического понятия «маленький человек» в художественно-философском контексте XX века, гоголевская и пушкинская родословная «маленького» героя в исторической прозе Булата Окуджавы, изменение классической структуры образа «маленького человека» как следствие его нового статуса..

Ключевые слова: Окуджава, «маленький человек», контекст, традиция, исторический роман, парадокс, утопия, идиллия, мотив, конфликт.

В середине 1950-х годов Л.Я. Гинзбург констатировала: современное искусство отвело центральное место «страдательному, маленькому человеку, просто человеку»; функция этого образа принципиально изменилась по сравнению с гоголевским Акакием Акакиевичем. Если для просвещенного гуманиста прежних времен «маленький человек» был «предметом отчужденного сострадания», то теперь он стал «выразителем всех – больших и малых, глупых и умных, умудренных и малограмотных»; именно в нем «поколение узнает свои страдания. Это – всеобщность нищеты и бездомности, всегдашней смертной угрозы и полицейского запрета, хлеба насущного и любви, отчаянно цепкой и всему противостоящей» [1, с. 285]. Поскольку из отечественного подцензурного искусства «маленький человек» (в том значении, которое актуально для Л.Я. Гинзбург) был на долгие годы вытеснен, «узнавать себя», свой социальный опыт приходилось в героях Кафки, Чаплина, Фолкнера [1, с. 285–287]. Правомерность обобщения подтвердилась впоследствии, когда «маленький» герой стал одной из ключевых фигур творчества писателей-«шестидесятников». Г.С. Померанц в статье на годовщину смерти Окуджавы подчеркнул единое для читателя и художника самоощущение, которое можно определить (вслед за Л.Я. Гинзбург) как историческую эмоцию: «Все мы – маленькие люди рядом с танками. Все мы не способны шагнуть в ногу с межконтинентальными ракетами» [2, с. 24].

Человеческая «малость», воплощенная разными своими гранями в жанре «песенки» («Ванька Морозов», «Московский муравей» и др.), в ранней прозе Окуджавы («Будь здоров,

школяр»), стала затем предметом активной творческой рефлексии исторического романиста: «...А третью вещь <“Путешествие дилетантов”> пишу не о “маленьком” человеке, а о представителе русской аристократии, но, думаю, по сути они все одинаковы. Он тоже “маленький” человек» [3, с. 3]. Прототипы своих героев Окуджава искал среди тех реально существовавших людей, чье имя «светом и молвой забыто», говоря пушкинским языком; их безвестность оставляла простор для творческой фантазии, а их незнание собственного места в истории было залогом того, что «маленькие люди», в отличие от людей «знаменитых», слегка позирующих для будущих жизнеописаний, ведут себя «натурально» [3, с. 3]. Применяя ту же архаическую формулу к себе («Я человек натуральный»), заявляя о прямом способе самовыражения («...я написал роман о них, но в их лице // о нас: ведь всё, мой друг, о нас с тобою» [4, с. 395]), Окуджава, со своей стороны, осветил предпосылки модернизации конкретно-исторического понятия «маленький человек».

Отсюда понятен характер отношений писателя с литературной традицией «маленького человека». При обсуждении проблем исторической прозы, в том числе «ретроспективного» изображения той действительности, которая уже знакома по литературе XIX века, Окуджава был задан вопрос: «Чем вам помогает прежняя литература, чем, может быть, мешает?» Он ответил парафразом легендарного изречения: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» – и тем самым перевел проблему на другой уровень: «“Прежняя” литература – это тоже мой опыт. Она существует во мне, и я *выхожу* из нее» [5, с. 134] (курсив в цитатах здесь и далее мой. –

М.А.). Метафора «исхода» выражает и преемственность, и чувство дистанции.

Самосознание гоголевского «маленького человека» (в лирике и автобиографической прозе Окуджавы опосредованное, вероятно, героем Мандельштама [6, с. 325–335]) – модель для художника чрезвычайно продуктивная, но все же не универсальная. Тип конфликта, реализованный в «Похождениях Шипова» и «Путешествии дилетантов», действительно гоголевский по своему генезису: заведомо опасны для «маленького человека» повседневные, рутинные контакты с миром, враждебное давление исходит от «благоустроенного государства». Напротив, герои «Бедного Авросимова» и «Свидания с Бонапартом» вовлечены в эпохальный катаклизм, увиденный сквозь призму «Медного всадника». Актуализирована в данном случае та причастность *бедного Евгения* к большой истории, о которой сам он, утративший семейные предания, *не тужит*. Своеобразное эхо пушкинской коллизии – прозрение «маленького человека» Окуджавы при «свидании» с олицетворенной исторической силой: «Это **мы** ничего не помним, <...> а история помнит все» [7, с. 289]. Герои современного писателя лишь более сознательно, нежели их литературный предшественник, проживают свои судьбы.

Гоголевская и пушкинская линии не просто соседствуют в творчестве Окуджавы на протяжении многих лет, но порождают в итоговом романе проблему, которую решают – вслед за автором – персонажи, «бедная французская певичка» и «жалкий австрийский гувернер»: «“По войне, – говорила я, – нельзя судить о людях”. – “О людях, дорогая Луиза, *нужно судить в дни катастроф*, а не тогда, когда они живут *под бдительным оком полиции...*” – возражал господин Мендер» [7, с. 397]. В художественном мире Окуджавы именно «маленький человек» призван к ответу по самому крупному счету: «За все, за все надо платить, а где взять?» [7, с. 291]. Виновником европейской катастрофы безумный Мендер считает себя.

Осмысление парадокса «маленького человека» в «Свидании с Бонапартом» имеет свою непростую предысторию. На литературно-критическую рефлексию влияли многие факторы, в том числе авторитет «заветных преданий» о войне с Наполеоном и декабризме [8, с. 259–267]: в сфере героического прошлого «маленькому человеку» отводилась традиционная роль свидетеля, соучастника, жертвы, иногда – скромного героя (Тушин и Тимохин в «Войне и мире»), но только не ответчика. В этом отношении близки позиции Г.П. Шторма [9, с. 6], В. Перцовского

[10, с. 159–160], В.Д. Оскоцкого [11, с. 189], Я.А. Гордина [12, с. 68–69] и других, кто сочувственно отмечал родство с *безумцем бедным* героев «Бедного Авросимова» и «Свидания с Бонапартом». С другой стороны, для ортодоксов соцреализма «маленький человек» был неуместен даже в повествовании о пушкинской эпохе. Образцовый советский роман о прошлом игнорировал ценность не только «маленького», но и скромного, «просто человеческого» существования в истории; оформление жанрового канона (как показано нами в специальной работе [13, с. 83–98]) сопровождалось фактическим отказом от наследия Пушкина: «В советский период происходит структурно-тематическая перестройка исторического романа. В нем основным становится *не частная жизнь*, а <...> тот *исторический подвиг*, который совершил человек. <...> Характерная для классического исторического романа проблема влияния исторических катаклизмов на судьбы обыкновенных людей отступает *на второй план*» [14, с. 167]. Иными словами, для советского исторического романа, с точки зрения официальной критики, неприемлем в качестве героя и Петруша Гринев. Между тем в творческой рецепции Окуджавы *недоросль* уравнивается с тем же *бедным Евгением*; именно эти пушкинские параллели в «Бедном Авросимове» трактовались автором процитированной выше официально-академической статьи как идеологически сомнительные [14, с. 178], хотя классик – по закону двоемыслия – осторожно выводился из-под удара [13, с. 92]. В поддержку крамольной концепции Окуджавы приходилось настойчиво указывать на ее истоки – гуманное отношение самого Пушкина к «маленькому человеку»: «Гипотеза Окуджавы <...> состоит в том, что пушкинский Евгений вполне способен и правомочен судить Петра» [10, с. 160], а беспомощность романских персонажей, столь предосудительная в глазах ревнителей «социальной активности», – закономерное следствие неравенства сил («Век гонится за ними, как бронзовый Петр...» [12, с. 69]). Напоминая об уязвимости человека при вступлении его в историческое бытие, интерпретаторы Окуджавы неизбежно (порой невольно, подчас сознательно, из тактических соображений) приглушали мысль о свободной воле и ответственности, которая столь категорично выражена «маленьким» героем «Свидания с Бонапартом».

Г.А. Белая, придя к заключению, что полемика об исторической прозе Окуджавы давно развивается «в обход главного» [15, с. 207], проблему «маленького человека» не пересмот-

рела. Ею отмечено, что «бедный Мендер» свою вину «гипертрофирует» [15, с. 216]; «реалистический» вывод о «всеобщей беде, которой обернулась война, *развязанная Наполеоном*» [15, с. 216], сделан критиком вопреки гротескной деформации причинно-следственных связей в мире романа. Избегая упрощения, следовало бы говорить более обстоятельно о том, почему оказалась необорима логика «малому – малое, великому – великое»; но одно можно утверждать наверняка: не всегда смещение аналитического «фокуса» зависело от таких внешних обстоятельств, как подцензурный характер высказывания и полемический контекст. Несомненно также, что на расстоянии многое видится яснее.

Сегодня очевидно, что «маленький человек» в исторической прозе Окуджавы является «главным предметом изображения, а не более или менее замутненным магическим кристаллом, сквозь который видна эпоха» [16, с. 411]. При обретении героем нового статуса изменяется классическая структура образа и сюжета. Наконец, доступна наблюдению не только оппозиция гоголевской и пушкинской моделей, но также особое положение в художественном мире Окуджавы его последнего романа. Каков же контрастный фон «Свидания с Бонапартом»?

В «Бедном Авросимове» неожиданно сближен со своим партнером–антиподом «несчастный полковник» Пестель, что делает второстепенным различие их исторических ролей. В то же время великодушный принцип «милость к падшим» исповедует лишь тот, кто сам нуждается в снисхождении, а логика обреченности «маленького человека» демонстративно нарушена: писарь Следственного комитета отпущен после непосильного для него испытания в идиллический усадебный мир, дабы «всё у него устроилось <...> ко всеобщему ликованию. *Бог с ним совсем*» [7, с. 264]. В «Похождениях Шипова» сущность «маленького человека» выясняется не в сопоставлении со «значительными лицами», но благодаря присутствию Льва Толстого на периферии художественного мира повести. В атмосфере всеобщего умопомрачения человечность «отставного поручика артиллерии» кажется истинно чудесной, и оценить ее способен именно Шипов – ничтожнейший из ничтожных. Отсюда его счастливый сон о том, что Толстой, словно Бог милосердный, прощает «секретного агента», запутавшегося в своих жалких играх с государством; такое «прощение свыше» предвещает фантастический финал – вознесение комического мученика на небо. В «Путешествии дилетантов» Мятлев – «тоже

“маленький” человек», согласно авторскому определению, – преодолевает навязанную временем унижительную судьбу, ибо ему послано во спасение «другое я» (в прямом и фигуральном смысле этого выражения): «маленький и храбрый» господин ван Шонховен с деревянным мечом, явившийся князю как загадочный идеальный двойник то ли из детства, то ли из рыцарской старины, оборачивается затем бесстрашной возлюбленной. Конфликт дилетантов с эпохой разрешается лирическим усилием самого автора, который замыкает рассказ о смерти героя стихотворением в прозе, утверждающим духовную победу слабых и беспомощных: «Лавиния Ладимировская, похоронив Мятлева, навсегда покинула Россию. Однако господин ван Шонховен в потертом армячке, по видимому, продолжает пересекать заснеженные пространства, оставляя нам в назидание свои следы» [17, с. 539].

«Маленьких» героев Окуджавы сопровождает спасительное чудо в той или иной его форме, причем «автор чуда» дарует его отнюдь не правым, а виноватым. Пример изолгавшегося Шипова особенно разителен, но и трогательный Авросимов изнемог от фантастических планов спасения «несчастливого полковника» прежде, нежели власти уличили его в симпатии к мятежнику, и благородный князь Мятлев со стыдом вспоминает о своей роли в лермонтовской дуэли. Таким образом, сочувствие «маленькому человеку» означает не что иное, как евангельское прощение его слабости, отпущение грехов. Условность «чуда» заостряет полемический выпад, адресованный как идеалистам с их готовностью обелять несчастных, так и современным судьям *малых сих*, отрекшимся от «абстрактного гуманизма» прошлого.

Ситуация качественно изменяется именно в том романе, который можно признать наиболее «литературным» произведением Окуджавы, где связь с классической традицией наглядно представлена мотивами «Медного всадника» [18, с. 103–110]. Во-первых, понятие «маленького человека» не только расширяется, охватывая теперь уже всех без исключения действующих лиц, но и абсолютизируется: ничто и никто не напоминает «среди унижений века» о гармонической норме, как это было в случае с Толстым (подобную роль мог бы сыграть в романе из пушкинской эпохи сам Пушкин, однако он даже не упомянут); в отличие от «Путешествия дилетантов», в «Свидании с Бонапартом» никто из героев не обретает идеальное «второе я» (все их любви «невпопад» [15, с. 218]). Во-вторых, Окуджава лишает «маленьких людей» права на

чудо. Автор уже не пролагает им дорогу к спасительной утопии – ни к иронической, ни к лирической; гибельная логика должна быть реализована до конца. Единственный персонаж, для которого сделано исключение, выделен, как будет показано далее, в особую категорию. В-третьих, меняется сущность прегрешения. Прежде это был конкретный поступок, совпадающий в своих последствиях с общим направлением событий: Авросимов поневоле приложил руку к расправе над Пестелем, и без того обреченным; Шипов лишь на время расстроил домашнее спокойствие хозяина Ясной Поляны; Мятлев не спас Лермонтова, который сам искал в смерти разрешения конфликта с миром. Субъективное переживание вины не отменяло той очевидности, «что главный ответчик – *вся наша жизнь*» [17, с. 238]. В «Свидании с Бонапартом» мимолетные контакты персонажей с историческими лицами никакого реального следа не оставляют, однако отношения «маленьких людей» с миром чреватые всеобщей катастрофой.

Преследуемый Бонапартом безумный господин Мендер – наиболее откровенная параллель к *бедному Евгению*, но, в отличие от своего классического прообраза, он расплачивается за обольщение властью: «...Франц Иоганн Мендер наслаждался италийским солнцем вместе с полуротой своих бравых тирольцев. Он покори́л эту страну, стал хозяином над нею, власть его простиралась далеко и казалась вечной» [7, с. 288]. Когда сила власти обнаруживает свою иллюзорность, ценой прозрения становится безумие: «Французы по наущению ломбардцев преследуют меня по пятам, <...> вся их военная деятельность – не что иное, как стремление осуществить акт возмездия надо мной!» [7, с. 290]. Явная диспропорция личной роли и эпохального события лишь заостряет проблему искупления вины: «Хотя я был всего лишь *жалкой щепкой* в море австрийского оружия, однако сознаю, что именно я избран Богом из всех моих соотечественников, когда Господь решил, что уже пора платить за содеянное. <...> Я боюсь, что когда меня настигнут и провозгласят единственным ответчиком за жестокую бездумную расчетливость остальных, я не вынесу столь громкого титула. Героем и злодеем надобно родиться. Как странно, что именно я, рожденный *маленьким человеком*, предназначен Высшими Силами для искупления всеобщих страстей...» [7, с. 290]. В горячей Москве, куда пришел по следам беглеца Бонапарт, бывший лейтенант австрийской армии, он же *учитель истории*, признает себя поджигателем – «в философском смысле» [7, с. 396].

Знаменательно, что в романе, где повествующие голоса принадлежат разным персонажам, Окуджава не использовал прием «записок сумасшедшего»; Мендер – герой чужих дневников и мемуаров. Факты, истолкованные другими действующими лицами, свидетельствуют о реальном влиянии *безумца бедного* на ход истории: сначала роль австрийского лейтенанта выясняется при ретираде союзных войск в 1805 году (с его исчезновением «французы, как он предсказывал, действительно на какое-то время оставили нас в покое», признает русский генерал [7, с. 289]), затем Бонапарт покидает Москву после гибели «маленького человека», «из-за которого началась эта война» [7, с. 408], ибо «великая драма завершилась» [7, с. 409].

Взаимосвязь малого и великого рисует воображение Опочинина: «Корсиканский гений шагает по августовской России не разуваясь, не снимая треуголки, в напрасном ожидании битвы. На фоне пылающего Смоленска, изда́лка видная, колеблется его *громадная тень*. Император Александр нервничает в Петербурге... Горячий Багратион интригует против осторожного Барклая, Тимоша бьет по щекам липеньского старосту, распорядившегося высечь мужика перед лицом гибели отечества. Я приготавливаю нечто, в надежде разом облагородить искаженный лик истории» [7, с. 276]. Последний по закону градации – слабейший, но крайние полюса уравниваются, ибо отставной калека – талантливый ученик «корсиканского гения», «истоптавший на своем веку столько чужих земель» [7, с. 278]. Опочинин тоже полагает себя причиной «нынешней катастрофы»: «Как некогда я сам, так теперь и они, не более того... Быть может, успех моего полка там, под Унтер-Лойбенем, зародил новую школу, и целая толпа подражателей, позабыв мое имя <...>, надеется в чужой земле повторить ту мою удачу, не жалея железа и крови» [7, с. 287]. «Беспомощный житель России на деревянной ноге, что-то вроде *свихнувшегося домового*» [7, с. 346], Опочинин грозит Бонапарту из своего деревенского угла, но бунт против великого человека оборачивается самообвинением. В итоге вместо рокового свидания с Наполеоном, которое должно остановить «гения войны и политики», генералу выпадает на долю трагикомическая стычка с «хамами французскими» – «напольёнами», как их называют мужики. Идеальное осуществление замысла и напрасная гибель неразличимы с точки зрения последствий: уцелевшие все равно «соберут новые полки и пойдут в обратном направлении по чужим огородам» [7, с. 343]),

так что Опочинин вправе считать себя виновником продолжения войны.

Когда вопрос о природе и масштабах исторического зла решает Луиза Бигар, она предьявляет Бонапарту претензии до смешного эгоистические: «Как будто *он* не мог в свое время ограничиться Австрией, Пруссией, ну, Испанией или Италией, покорил бы, наконец, Англию, вместо того, чтобы вторгаться в Россию и перевернуть *мою жизнь* за каких-то три-четыре месяца!» [7, с. 411]. В этом есть и типичная для «маленького человека» мизерность, и детская правота. Однако самое наивное существо тоже знает муку внутреннего разлада; неравное противостояние «бедной певички» императору осложняется её чувством вины за принадлежность к племени «французского Тамерлана».

Обновление смысла особенно явно на фоне традиционных слагаемых ситуации «маленького человека». Образ родного дома создается Опочининым в идиллической тональности и с характерным символизирующим акцентом: «...Портрет, подсвечник, звяканье ключей. Блажен, кто умер на своей постели среди *привычных сердцу мелочей*» [7, с. 345]; в этом уюте обживается на время Мендер, заглушая воспоминания о бегстве от разгневанного Бонапарта по дорогам Европы. Для Луизы Бигар «свое» пространство – театр и артистический салон; в горячей Москве она вздыхает о кокетливых нарядах, квартирке в «прехорошеньком флигеле» [7, с. 355]. Варвара Волкова мечтает «в *маленьком* Ельцове наслаждаться любовью и миром» [7, с. 453]. Внук Опочинина спустя годы пытается сохранить среди исторических бурь родовое гнездо: «Всё в мире меняется – только Липеньки неизменны» [7, с. 463]. Традиционная ситуация утраты дома, сиротства. Но разрушение домашней идиллии изнутри, под напором стихий, пробуждающихся в самом «маленьком человеке», – новый поворот темы, выражающий загадочную связь интимного с историческим: «Что там в ней, *Сонечке*, бушевало, сушило ее, бегущую с *черноглазым сыночком* по российским равнинам?» [7, с. 273].

Уменьшительные формы, эпитеты «маленький», «бедный», их контекстуальные синонимы раскрывают свой новый смысл в составе антитез. Мендер заморожен просторами принявшей его России: «Я понял, как далеки мои преследователи, как они бессильны досаждать мне, и я подумал: <...> *ничтожность маленького человечка* на этих *громдах просторах* постепенно превращается в *преимущество*» [7, с. 292]. Впечатлительность «маленького человека» при встрече с генералом сродни потрясению

бедного Евгения при виде ожившего памятника: «Какой высоченный, бравый... вышагивает, *ровно Петр Великий*, даже половицы скрипят» [7, с. 329]. Самооценка Опочинина в годы его заблуждений соответствует этому стороннему видению: «В сорок два года <возраст Бонапарта в 1812-м> каким я был молодцом! <...> Но, главное, дух <...> соответствовал росту и ширине плеч; запястье было какое – шпагу вращал до пятисот раз без усталости! Это было наслаждение, и это меня *возвышало* в собственном мнении...» [7, с. 295]. В самый момент прозрения «большое» превращается в «маленькое»: «Впервые вдруг мое гордое военное одеяние показалось мне отвратительным... я сидел в кресле, *маленький, испуганный, сухонький...*» [7, с. 329]. В письме Мендера к Опочинину смысловые переходы столь же наглядны: «Когда вы там, под Кремсом, *склонились надо мной с высоты Вашего гигантского роста* <...>, я прочитал в ваших глазах <...> понимание моей трагедии. Господин генерал, ведь *мы были детьми одной Природы* и, как *все дети*, с искренним вождением претендовали на чужие игрушки» [7, с. 291].

Черты детскости в структуре образа «маленького человека» традиционно были частью оппозиции «благая натура – социальное зло». В мире Окуджавы, напротив, «“природа” не противостоит “истории”, но ее порождает» [19, с. 193]. «Маленький человек» потому и несет историческую ответственность, что именно он – человек как таковой, «натуральный» (согласно авторскому комментарию) во всех своих проявлениях. Будучи «детьми одной Природы», ответственны перед миром даже те персонажи романа, которые, желая свести к нулю вероятное зло, остаются сугубо частными людьми, не топчут «чужих огородов» в завоевательных походах: *Саша* Опочинин, старший, но так и не повзрослевший брат генерала, стреляется от ужаса перед тем, что творится за пределами его дома.

Младший из рода Опочининых, Тимофей Игнатьев, входит в роман под детским именем *Тимоша*. Так продолжают называть боевого офицера, который тоже «порывался сводить свои неперемные счета с Бонапартом» [7, с. 403], хозяина поместья, участника политических споров. В историческом масштабе все – дети, и рано обретенная зрелость не помогает в решении проклятых вопросов: созревающий на глазах военный заговор пугает «всеобщим кровопусканием», явлением нового Бонапарта; в то же время «такое воодушевление было во круг, такое вдохновение, что за собственное

ничтожество хотелось голову разбить о стену...» [7, с. 488]. Невозможность выбора рождает чувство вины перед всеми сразу. Показательно, что гибельный виток судьбы замаскирован под счастливую развязку – то самое чудо, дарованное «маленькому человеку» по слабости его. За беспомощного Тимошу хлопочут поочередно две исторические силы: сначала товарищи деликатно отстраняют его от участия в заговоре, затем власти не удостоивают карой мирного калужского помещика. Портрет освобожденного из крепости выдает весь ужас избавления: «...гладко выбритое, землистого цвета улыбающееся лицо <...> и странный, неведомый запах <...> вязкий, неотвратимый, пропитанный отчаянием запах сырого каземата, запах распада и гибели и человеческого унижения...» [7, с. 510].

Буднично-драматический вариант судьбы «маленького человека» реализуется поначалу в сюжетной линии Пряхиных, также отмеченной пушкинским «элементом». «Безвестный обедневший дворянин» из захиревшей ветви знатного рода *трудиться день и ночь готов*, чтобы устроить *приют смиренный и простой*, но поэзия честной бедности оборачивается низкой прозой: «Множество детей и больная жена. <...> И вот уже приближается старость, а средств нет, и детей пристроить не удается...» [7, с. 282–283]. Счастливая перемена обстоятельств (наследство петербургской тетки) сопровождается, как дважды подчеркнуто, «легким безумием» главы семейства. Из этой символической детали вырастает обобщение: подверженные, как все люди, житейским перипетиям, Пряхины нечувствительны к историческим потрясениям, для них в принципе невозможно *свидание с Бонапартом* (в том особом смысле, который задан названием романа), хотя случайная встреча на дорогах войны для Пряхиномладшего как раз не исключена: «Дело в том, господа, что я видел Бонапарта!.. Буквально вчера, господа... трудно поверить» [7, с. 372]. Традиционное для «маленьких» героев Окуджавы чудо меняет свою функцию в новом контексте: «У нас после того чуда, после тех фантастических денег, которые на нас свалились, <...> все обернулось вот как хорошо. <...> Теперь бы только выпутаться из этой истории...» [7, с. 335, 336]. Прямое значение *запутанной истории* (летние неудачи 1812 года) перерастает в метафору: одним вообще нетрудно *выпутаться*, другие в *истории* прочно увязают.

Если Луиза Бигар в горячей Москве отжествляла себя с *побежденными*, а Варвара

Волкова не могла разделить ликования толпы по поводу убийства императора Павла, то Пряхин, сослуживец и друг декабристов, вполне искренне проникается чувствами *победителей*: «Вы можете представить себя на месте государя?.. Представьте только, как все это выглядело для него... я бы, например, от страха и ужаса, когда все качнулось, просто велел бы всех заковать и картечью, картечью...» [7, с. 503]. «Маленький человек», воистину натуральный в своем поведении, выдает мотивы государственных решений, делая понятным, «на что способны люди, когда они облечены *высшими правами*, как холодны и мстительны бывают они, опасаясь за собственное благополучие да к тому же испытав приступы *смертельного страха*» [7, с. 507].

Пряхин убежден, что необходимость «противодействовать» былым товарищам – «трагическая и несправедливая» насмешка судьбы [7, с. 512], частный случай, омрачивший его душевное благополучие; он легко находит доводы в пользу своей невиновности перед Тимофеем Игнатьевым, втянутым в дознание. В письмах Пряхина «любезному Тимоше» избавление от постигшей заговорщиков расправы трактуется как воссоединение («Ведь нас теперь осталось двое. Ты да я» [7, с. 526]), как уподобление благополучному другу («Бери пример с меня»); последнее означает и продолжение рода, и умаление исторической трагедии до житейской неприятности: «Забудь этот дурной *кратковременный сон*»; «Надо теснее держаться, а *мелькие досады* <...> *считать за вздор*» [7, с. 512, 526]. Но друзья, оказавшиеся по одну сторону исторического разлома, противопоставлены на иных основаниях; возможность стать вторым Пряхиным заведомо исключена для адресата писем: он давно мертв.

Добровольная смерть в июле 1826-го, в месяц казней, символизирует отнюдь не запоздалый политический выбор. Игнатьев во время следствия «держался с достоинством. Его искренность и откровенный монолог вызвали даже сочувствие у строгих членов Комитета» [7, с. 508]. Соглашаясь, что «лучше все как оно есть, нежели *братоубийство*» [7, с. 511], он не снимает с себя ответственность за историческую жизнь, в которой именно братоубийцы и торжествуют – то одни, то другие; оправдавшись перед законом, он как бы санкционировал расправу с провинившимися *братьями*. Подобно господину Мендеру, Игнатьев ощущает себя причиной катастрофы: для его совести здесь нет гиперболы. Прием сюжетного пропуска и умолчания передает неизреченность вины; состояние

безмолвствующего героя объясняют предсмертные записки его деда: «Так погибали Опочинины... *Мой бедный брат*, отчаявшийся и не увидевший вокруг ни одного виновника, кроме себя самого!» [7, с. 276].

Масштаб трагедии явствует из письма Варвары Волковой: «**Что** на самом деле толкнуло его на столь невероятное и ужасное решение своей судьбы, за **чьи** грехи расплатился он, мы, так любившие его, теперь уже никогда, никогда не узнаем...» (выделено автором. – М.А.). А последнее в романе упоминание Пряхина воспринимается на фоне его собственных речей о союзе «оставшихся двоих»: «...как никогда не дано нам будет понять, **отчего** волей Провидения эта кровоточащая в наших сердцах рана навеки отныне связана с Вашим (уверена, к нему совершенно непричастным) именем» [7, с. 527]. Постепенное исчезновение из романа персонажей, уравниваемых в статусе «маленьких людей» самой историей, оставляет на первом плане тех двоих, кто особенно наглядно демонстрирует первопричины различия судеб. Сводя в эпилоге живого и мертвого героев, автор устраняет в заключительном слове о них всю историческую конкретику ради обобщения, которое стимулируется недоуменными вопросами свидетеля трагедии.

На протяжении романа Пряхин много, убедительно, нелицемерно говорит о совести и любви: «...я своих людей жалею. Я им *как брат*, и они за эти три года <годы войны с Наполеоном> веревочкой моей не попользовались, ждали меня, *как брата*...», а также о несовершенстве человека: «Везде плохо... Господа, везде, где есть люди, там плохо. Если бы все жили по совести, жизнь была бы прекрасна...». Свою позицию «маленького человека» («...я жить хочу, как мне *предназначено*; *«Не я решал, не мне менять»*») он оправдывает весьма показательно: «Главное – доброта и совесть» [7, с. 466, 467]. Такая совесть, гармонизирующая отношения барина «со своими людьми», – ценность ситуационная, она не сопротивляется «законному» братоубийству. Между тем лейтмотив братской любви, пронизывающий весь роман, выстраивает иерархию ценностей, напоминающая о евангельском идеале, неосуществленном и неосуществимом. Очевидно, что лишь ценой отлучения от абсолюта такие, как Пряхин, сохраняют душевную цельность, выполняют свою миссию: «пашут землю», обеспечивают непрерывность жизни. Тот, кто на фоне гибели *братьев* бодро сообщает об ожидании «шестого наследника», неуязвим для укоров.

Напротив, Тимоша требователен к себе более, чем это позволяет его фактическое место среди *малых сих*, более, чем это вообще возможно для человека. *Большая совесть – больная совесть*, и все Опочинины приходят к одному итогу: «...мы старательно и благонаравно исполняли обременительные прихоти природы, покуда не становились отвратительны самим себе, и черные наши глаза переполнялись тоской, пугая окружающих» [7, с. 272]. «Слабое звено» в жизненной цепи, они не совпадают сами с собой. Зримый образ несовпадения – «отчуждение» облика: генерал Опочинин видит в зеркале «хромое чудовище» [7, с. 278], его брат-самоубийца направляет пистолет «прямо в круглое улыбающееся лицо» [7, с. 274], Тимоша улыбается от смертельного унижения. Традиционная для «маленького человека» оглядка на авторитетного «другого» оборачивается здесь иным раздвоением: это взгляд на себя из мира высших ценностей, осознание своего ничтожества по отношению к идеалу, невозможность простить себя.

Экзистенциальные вопросы сопутствовали «маленькому человеку» начиная с пушкинского «Медного всадника», где исторически и социально типичная судьба увидена также в метафизическом свете («...иль вся наша / И жизнь ничто, как сон пустой, / Насмешка неба над землей?»). Социальный и философский опыт XX века сказывается в преимущественном внимании Окуджавы к вечной сути исторической коллизии, которая неизбежно воспроизводится на новом этапе. Тяжесть проклятых вопросов особенно ощутима, когда поиск истины ведет «маленький человек».

Список литературы

1. Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л.: Сов. писатель, 1987. 608 с.
2. Померанц Г. Серная спичка // Литературное обозрение. 1998. № 3. С. 23–24.
3. Окуджава Б. Далекое и близкое / Интервью вела И. Ришина // Литературная газета. 1976, 17 ноября. С. 3.
4. Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб.: Академ. проект, 2001. 712 с.
5. «Минувшее меня объемлет живо...» / Беседу вел Ю. Болдырев // Вопросы литературы. 1980. № 8. С. 124–148.
6. Гельфонд М.М. Мандельштам и Окуджава: мир и лирический герой // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 3. М.: Булат, 2006. С. 325–335.
7. Окуджава Б.Ш. Избранные произведения: В 2 т. М.: Современник, 1989. Т. 1. 528 с.

8. Александрова М.А. Советская критика об исторической прозе Б.Ш. Окуджавы: перевернутая страница? // Забытые и второстепенные критики и филологи XIX – XX веков. Псков: ПГПУ, 2005. С. 259–267.
9. Шторм Г.П. История принадлежит поэту... // Литературная газета. 1969. 8 окт. С. 6.
10. Перцовский В. Нравственный поиск исторической прозы // Сибирские огни. 1975. № 1. С. 152–165.
11. Оскоцкий В.Д. Роман и история. М.: Худож. Литер., 1980. 384 с.
12. Гордин Я.А. Порвалась связь времен? (Заметки об одном направлении современной исторической прозы) // Вопросы литературы. 1986. № 3. С. 43–70.
13. Александрова М.А. «Капитанская дочка» в зеркале советской исторической прозы: *тайная свобода* и потаенный спор // Новый филологический вестник. М.: РГГУ, 2009. № 2. С. 83–98.
14. Левкович Я.Л. Восстание декабристов в советской художественной прозе // Русская литература. 1975. № 4. С. 168–179.
15. Белая Г.А. Литература в зеркале критики. М.: Сов. писатель, 1986. 368 с.
16. Назаренко М.И. «Прогулки фрайеров»: историческая тетралогия Булата Окуджавы как целое (К постановке проблемы) // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5. М.: Булат, 2008. С. 401–424.
17. Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. М.: Сов. писатель, 1980. 544 с.
18. Александрова М.А. Мотивы пушкинского «Медного всадника» в романе Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом» // Художественный текст и культура. Владимир: ВГПУ, 2004. С. 103–110.
19. Дубшан Л.С. [Рецензия на:] Б. Окуджаву. Избранные произведения: В 2 т. М.: Современник, 1989 // Нева. 1990. № 9. С. 193.

THE «SMALL MAN» IN BULAT OKUDZHAVA'S NOVEL «A DATE WITH BONAPARTE»

М.А. Aleksandrova

The article considers the premises for the modernization of the concrete historical concept of the «small man» in the literary and philosophical context of the 20th century, Gogolian and Pushkinian sources of the «small» character in Bulat Okudzhava's historical prose, the change of the classical structure of the image of the «small man» as a consequence of his new status.

Keywords: Okudzhava, «small man», context, tradition, historical novel, paradox, utopia, idyll, motif, conflict.